

Александр Куприн

Святая ложь



Александр Иванович Куприн

Святая ложь

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172680*

Аннотация

«Иван Иванович Семенюта – вовсе не дурной человек. Он трезв, усерден, набожен, не пьет, не курит, не чувствует влечения ни к картам, ни к женщинам. Но он самый типичный из неудачников. На всем его существе лежит роковая черта какой-то растерянной робости, и, должно быть, именно за эту черту его постоянно бьет то по лбу, то по затылку жестокая судьба, которая, как известно, подобно капризной женщине, любит и слушается людей только властных и решительных. Еще в школьные годы Семенюта всегда бывал козлицем отпущения на целый класс...»

Святая ложь

Иван Иванович Семенюта – вовсе не дурной человек. Он трезв, усерден, набожен, не пьет, не курит, не чувствует влечения ни к картам, ни к женщинам. Но он самый типичный из неудачников. На всем его существо лежит роковая черта какой-то растерянной робости, и, должно быть, именно за эту черту его постоянно бьет то по лбу, то по затылку жестокая судьба, которая, как известно, подобно капризной женщине, любит и слушается людей только властных и решительных. Еще в школьные годы Семенюта всегда бывал козлицем отпущения на целый класс. Бывало, во время урока нажует какой-нибудь сорванец большой лист бумаги, сделает из него лепешку и ловким броском шлепнет ею в величественную лысину француза. А Семенюту как раз в этот момент угораздит отогнать муху со лба. И красный от гнева француз кричит:

– О! Земнют, скверный мальчишка! Au mur! К стены!

И бедного, ни в чем не повинного Семенюта во время перемены волокут к инспектору, который трясет седой козлиной бородой, блестит сквозь золотые очки злыми серыми глазами и равномерно тюкает Семенюту по темени старым, окаменелым пальцем.

– Ученичок, развращенный! Ар-ха-ро-вец... Позо-

рище заведения!.. У-бо-и-ще!.. Ос-то-лоп!..

И потом заканчивал деловым холодным тоном:

– После обеда в карцер на трое суток. До Рождества без отпуска (заведение было закрытое), а если еще повторится, то выдерем и вышвырнем из училища.

Затем звонкий щелчок в лоб и грозное: «Пшол! Козли-ще!»

И так было постоянно. Разбивали ли рогатками стекла в квартире инспектора, производили ли набег на соседние огороды, – всегда в критический момент молодые разбойники успевали разбежаться и скрыться, а скромный, тихий Семенюта, не принимавший никакого участия в проделке, оказывался роковым образом непременно поблизости к месту преступления. И опять его тащили на расправу, опять ритмические возгласы:

– У-бо-и-ще!.. Ар-ха-ро-вец!.. Ос-то-лоп!..

Так он с трудом добрался до шестого класса. Если его не выгнали еще раньше из училища с волчьим паспортом, то больше потому, что его мать, жалкая и убогая старушка, тащилась через весь город к инспектору, к директору или к училищному священнику, бросалась перед ним в землю, обнимала их ноги, мочила их колени обильными материнскими слезами, моля за сына:

– Не губите мальчика. Ей-богу, он у меня очень послушный и ласковый. Только он робкий и запуганный. Вот другие сорванцы его и обижают. Уж лучше посетите его.

Семенюту довольно часто и основательно секли, но это испытанное средство плохо помогало ему. После двух неудачных попыток проникнуть в седьмой класс его все-таки исключили, хотя, снисходя к слезам его матери, дали ему аттестат об окончании шести классов.

Путем многих жертв и унижений мать кое-как сколотила небольшую сумму на штатское платье для сына. Пиджачная тройка, зеленое пальто «полудемисезон», заплатанные сапоги и котелок были куплены на толкучке, у торговцев «вручную». Белье же для него мать пошила из своих юбок и сорочек.

Оставалось искать место. Но место «не выходило» – таково уж было вечное счастье Семенюты. Хотя надо сказать, что целый год он с необыкновенным рвением бегал с утра до вечера по всем улицам громадного города в поисках какой-нибудь крошечной должности. Обедал он и ужинал во вдовьем доме: мать, возвращаясь из общей столовой, тайком приносила ему половину своей скудной порции. Труднее было с ночлегом, так как вдовы помещались в общих палатах, по пяти-шести в каждой. Но мать поклонилась

псаломщику, поклонилась и кастелянше, и те милостиво позволили Семенюте спать у них на общей кухне, на двух табуретках и деревянном стуле, сдвинутых вместе.

Наконец-то через год с лишком нашлось место писца в казенной палате на двадцать три рубля и одиннадцать с четвертью копеек в месяц. Добыл его для Семенюты частный поверенный, Ювеналий Евпсихиевич Антонов, знавший его мать во времена ее молодости и достатка.

Семенюта со всем усердием и неутомимостью, которые ему были свойственны, влег в ляжку тяжелой, скучной службы. Он первый приходил в палату и последний уходил из нее, а иногда приходил заниматься даже по вечерам, так как за сущие гроши он исполнял срочную работу товарищей. Остальные писцы относились к нему холодно: немного свысока, немного пренебрежительно. Он не заводил знакомств, не играл на бильярде и не разгуливал на бульваре со знакомыми барышнями во время музыки. «Анахорет сирийский», – решили про него.

Семенюта был счастлив: скромная комнатка, вроде скворечника, на самом чердаке, обед за двадцать копеек в греческой столовой, свой чай и сахар. Теперь он не только мог изредка баловать мать то яблочком, то десятком карамель, то коробкой халвы, но к концу

года даже завел себе довольно приличный костюмчик и прочные скрипучие ботинки. Начальство, по-видимому, оценило его усердие. На другой год службы он получил должность журналиста и прибавку в пять рублей к жалованью, а к концу второго года он уже числился штатным и стал изредка откладывать кое-что в сберегательную кассу. Но тут-то среди аркадского благополучия судьба и явила ему свой свирепый образ.

Однажды Семенюта прозанимался в канцелярии до самой глубокой ночи. Кроме того, его ждала на квартире спешная частная работа по переписке. Он лег спать лишь в пятом часу утра, а проснулся, по обыкновению, в семь, усталый, разбитый, бледный, с синими кругами под глазами, с красными ресницами и опухшими веками. На этот раз он явился в управление не раньше всех, как всегда, но одним из последних.

Он не успел еще сесть на свое место и разложить перед собой бумаги, как вдруг смутно почувствовал в душе какое-то странное чувство, тревожное и жуткое. Одни из товарищей глядели на него искоса, с неприязнью, другие – с мимолетным любопытством, третьи опускали глаза и отворачивались, когда встречались с его глазами. Он ничего не понимал, но сердце у него замерло от холодной боли.

Тревога его росла с каждой минутой. В одина-

дцать часов, как обыкновенно, раздался громкий звонок, возвещающий прибытие директора. Семенюта вздрогнул и с этого момента не переставал дрожать мелкой лихорадочной дрожью. И он, пожалуй, совсем даже не удивился, а лишь покачнулся, как вол под обухом, когда секретарь, нагнувшись над его столом, сказал строго, вполголоса: «Его превосходительство требует вас к себе в кабинет». Он встал и свинцовыми шагами, точно в кошмаре, поплелся через всю канцелярию, провожаемый длинными взглядами всех сослужащих.

Он никогда не был в этом святилище, и оно так поразило его своими огромными размерами, грандиозной мебелью в строгом ледяном стиле, массивными малиновыми портьерами, что он не сразу заметил маленького директора, сидевшего за роскошным письменным столом, точно воробей на большом блюде.

– Подойдите, Семенюта, – сказал директор после того, как Семенюта низко поклонился. – Скажите, зачем вы это сделали?

– Что, ваше превосходительство?

– Вы сами лучше меня знаете, что. Зачем вы взломали ящик от эскуторского стола и похитили оттуда гербовые марки и деньги? Не извольте отпираться. Нам все известно.

– Я... ваше превосходительство... Я... Я... Я, ей-

богу...

Начальник, очень либеральный, сдержанный и гуманный человек, профессор университета по финансовому праву, вдруг гневно стукнул по столу кулаком:

– Не смейте божиться. Прошлой ночью вы здесь оставались одни. Оставались до часу. Кроме вас, во всем управлении был только сторож Анкудин, но он служит здесь больше сорока лет, и я скорее готов подумать на самого себя, чем на него. Итак, признайтесь, и я отпущу вас со службы, не причинив вам никакого вреда.

Ноги у Семенюты так сильно затряслись, что он невольно опустился на колени.

– Ваше... Ей-богу, честное слово... ваше... Пускай меня мать божия, Николай-угодник, если я... ваше превосходительство!

– Встаньте, – брезгливо сказал начальник, подбирая ноги под стул. – Разве я не вижу по вашему лицу и по вашим глазам, что вы провели ночь в вертепе. Я ведь знаю, что у вас после растраты или кражи (начальник жестоко подчеркнул это слово), что у вас первым делом – трактир или публичный дом. Не желая порочить репутацию моего учреждения, я не дам знать полиции, но помните, что, если кто-нибудь обратится ко мне за справками о вас, я хорошего ничего не скажу. Ступайте.

И он надавил кнопку электрического звонка.

Вот уже три года, как Семенюта живет дикой, болезненной и страшной жизнью. Он ютится в полутемном подвале, где снимает самый темный, сырой и холодный угол. В другом углу живет Михеевна, торговка, которая закупает у рыбаков корзинками мелкую рыбу уклейку, делает из нее котлеты и продает на базаре по копейке за штуку. В третьем, более светлом углу целый день стучит, сидя на липке, молоточком сапожник Иван Николаевич, по будням мягкий, ласковый, веселый человек, а по праздникам забияка и драчун, который живет со множеством ребятишек и с вечно беременной женой. Наконец, в четвертом углу с утра до вечера грохочет огромным деревянным катком прачка Ильинишна, хозяйка подвала, женщина сварливого характера и пьяница.

Чем существует Семенюта, – он и сам не скажет толком. Он учит грамоте старших ребятишек сапожника, Кольку и Верку, за что получает по утрам чай вприкуску, с черным хлебом. Он пишет прошения в ресторанах и пивных, а также по утрам в почтамте адресует конверты и составляет письма для безграмотных, дает уроки в купеческой семье, где-то на краю города, за три рубля в месяц. Изредка наклеывается переписка. Главное же его занятие – это бегать по городу в поисках за местом. Однако внешность его нико-

му не внушает доверия. Он не брит, не стрижен, волосы торчат у него на голове, точно взъерошенное сено, бледное лицо опухло нездоровой подвальной одутловатостью, сапоги просят каши. Он еще не пьяница, но начинает попивать.

Но есть четыре дня в году, когда он старается встряхнуться и сбросить с себя запущенный вид. Это на Новый год, на Пасху, на Троицу и на тринадцатое августа.

Накануне этих дней он путем многих усилий и унижений достает пятнадцать копеек, – пять копеек на баню, пять на цирюльника, практикующего в таком же подвале, без вывески, и пять копеек на плитку шоколада или на апельсин. Потом он отправляется к одному из двух прежних товарищей, которых хотя и стесняют его визиты, но которые все-таки принимают его с острой и брезгливой жалостью в сердце. Их фамилии: одного – Пшонкин, другого – Масса. Боясь надоесть, Семенюта чередует свои визиты.

Он пьет предложенный ему стакан чаю, кряхтит, вздыхает и печально, по-старчески покачивает головой.

– Что? Плохо, брат Семенюта? – спрашивает Масса.

– На Бога жаловаться грех, а плохо, плохо, Николай Степанович.

– А ты не делал бы, чего не полагается.

– Николай Степанович... видит Бог... не я... как перед истинным, – не я.

– Ну, ну, будет, будет, не плачь. Я ведь в шутку. Я тебе верю. С кем не бывает несчастья? А тебе, Семенюта, не нужно ли денег? Четвертачок я могу.

– Нет, нет, Николай Степанович, денег мне не надо, да и не возьму я их, а вот, если уж вы так великодушны, одолжите пиджачок на два часика. Какой позатрепаннее. Не откажите, роднуша, не откажите, голуба. Вы не беспокойтесь, я вчера в баньке был. Чистый.

– Чудак ты, Семенюта. Для чего тебе костюм? Вот уже третий год подряд ты у меня берешь напрокат пиджаки. Зачем тебе?

– Дело такое, Николай Степанович. Тетка у меня... старушка. Вдруг умрет, а я единственный наследник. Надо же показаться, поздравить. Деньги не Бог вещь какие, но все-таки пятьсот рублей... Это не Макара в спину целовать.

– Ну, ну, бери, бери, Бог с тобой.

И вот, начистив до зеркального блеска сапоги, замазав в них дыры чернилами, тщательно обрезав низу брюк бахрому, надев бумажный воротничок с манишкой и красный галстук, которые обыкновенно хранятся у него целый год завернутые в газетную бумагу, Семенюта тянется через весь город во вдовый дом

с визитом к матери. В теплой, по-казенному величественной передней красуется, как монумент, в своей красной с черными орлами ливрее толстый седой швейцар Никита, который знал Семенюту еще с пятилетнего возраста. Но швейцар смотрит на Семенюту свысока и даже не отвечает на его приветствие.

– Здравствуй, Никитушка. Ну, как здоровье?

Гордый Никита молчит, точно окаменев.

– Как здоровье мамыши? – спрашивает робко обескураженный Семенюта, вешая пальто на вешалку.

Швейцар заявляет:

– А что ей сделается. Старуха крепкая. Поскрипи-ит.

Семенюта обыкновенно норовит попасть к вечеру, когда не так заметны недостатки его костюма.

Неслышным шагом проходит он сквозь ряды огромных сводчатых палат, стены которых выкрашены спокойной зеленой краской, мимо белоснежных постелей со взбитыми перинами и горами подушек, мимо старушек, которые с любопытством провожают его взглядом поверх очков. Знакомые с младенчества запахи, – запах травы пачули, мятного куренья, воска и мастики от паркета и еще какой-то странный, не определенный, цвельый запах чистой, опрятной старости, запах земли – все эти запахи бросаются в голову Семенюте и сжимают его сердце тонкой и острой жало-

стью.

Вот, наконец, палата, где живет его мать. Шесть высоченных постелей обращены головами к стенам, ногами внутрь, и около каждой кровати – казенный шкафчик, украшенный старыми портретами в рамках, оклеенных ракушками. В центре комнаты с потолка низко спущена на блоке огромная лампа, освещающая стол, за которым три старушки играют в нескончаемый преферанс, а две другие тут же вяжут какое-то вязанье и изредка вмешиваются со страстью в разбор сделанной игры. О, как все это болезненно знакомо Семенюте!

– Конкордия Сергеевна, к вам пришли.

– Никак Ванечка?

Мать быстро встает, подымая очки на лоб. Клубок шерсти падает на пол и катится, распутывая петли вязанья.

– Ванёчек! Милый! Ждала, ждала, думала, так и не дождусь моего ясного сокола. Ну, идем, идем. И во сне тебя сегодня видела.

Она ведет его дрожащей рукой к своей постели, где около окна стоит ее собственный отдельный столик, постилает скатерть, зажигает восковой церковный огарочек, достает из шкафчика чайник, чашки, чайницу и сахарницу и все время хлопочет, хлопочет, и ее старые, иссохшие, узловатые руки трясутся.

Проходит мимо степенная старая горничная, «поковая девушка», лет пятидесяти, в синем форменном платье и белом переднике.

– Домнушка! – говорит немного искательно Конкордия Сергеевна. – Принеси-ка нам, мать моя, немножечко кипяточку. Видишь, Ванюшка ко мне в гости приехал.

Домна низко, но с достоинством, по-старинному, по-московски, кланяется Семенюте.

– Здравствуйте, батюшка Иван Иванович. Давненько не бывали. И мамаша-то все об вас скучают. Сейчас, барыня, принесу, сию минуточку-с.

Пока Домна ходит за кипятком, мать и сын молчат и быстрыми, пронзительными взглядами точно ощущают души друг друга. Да, только расставаясь на долгое время, уловишь в любимом лице те черты разрушения и увядания, которые не переставая наносит беспощадное время и которые так незаметны при ежедневной совместной жизни.

– Вид у тебя неважный, Ванёк, – говорит старушка и сухой жесткой рукой гладит руку сына, лежащую на столе. – Побледнел ты, усталый какой-то.

– Что поделаешь, маман! Служба. Я теперь, можно сказать, на виду. Мелкая сошка, а вся канцелярия на мне. Работаю буквально с утра до вечера. Как вол. Согласитесь, маман, надо же карьеру делать!

– Не утомляйся уж очень-то, Ванюша.

– Ничего, маман, я двужильный. Зато на Пасху получу коллежского, и прибавку, и наградные. Тогда кончено ваше здешнее прозябание. Сниму квартирку и перевезу вас к себе. И будет у нас не житье, а рай. Я на службу, вы – хозяйка.

Из глаз старухи показываются слезы умиления и расплзаются в складках глубоких морщин.

– Дай-то Бог, дай-то Бог, Ваничёк. Только бы Бог тебе послал здоровья и терпенья. Вид-то у тебя...

– Ничего. Выдержим, маман!

Этот робкий, забитый жизнью человек всегда во время коротких и редких визитов к матери держится развязного, независимого тона, бессознательно подражая тем светским «прикомандированным» шалопаям, которых он в прежнее время видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое слово «маман». Он всегда звал мать и теперь мысленно называет «мамой», «маму-сенькой», «мамочкой», и всегда на «ты». Но в названии «маман» есть что-то такое беспечное и аристократическое. И в те же минуты, глядя на измученное, опавшее, покоробленное лицо матери, он испытывает одновременно страх, нежность, стыд и жалость.

Домна приносит кипяток, ставит его со своим истовым поклоном на стол и плавно уходит.

Конкордия Сергеевна заваривает чай. Мимо их сто-

лика то и дело шмыгают по делу и без дела древние, любопытные, с мышиными глазками старушонки, сами похожие на серых мышей. Все они помнят Семенюту с той поры, когда ему было пять лет. Они останавливаются, всплескивают руками, качают головой и изумляются:

– Господи! Ванечка! И не узнать совсем, – какой большой стал. А я ведь вас вон таким, таким помню. Отчаянный был мальчик – герой. Так вас все и звали: генерал Скобелев. Меня все дразнил «Перпетуя Измегуевна», а покойницу Гололобову, Надежду Федоровну, – «серенькая бабушка с хвостиком». Как теперь помню.

Конкордия Сергеевна бесцеремонно машет на нее кистью руки.

– И спасибо... Тут у нас с сыном важный один разговор. Спасибо. Идите, идите.

– Как у вас дела, маман? – спрашивает Семенюта, прихлебывая чай внакладку.

– Что ж. Мое дело старческое. Давно пора бы туда... Вот с дочками плохо. Ты-то, слава Богу, на дороге, на виду, а им тугο приходится. Катюшин муж совсем от дому отбился. Играет, пьет, каждый день на квартиру пьяный приходит. Бьет Катеньку. С железной дороги его, кажется, скоро прогонят, а Катенька опять беременна. Только одно и умеет, подлец.

– Да уж, маман, правда ваша, – подлец.

– Тсс... тише... Не говори так вслух... – шепчет мать. – Здесь у нас все подслушивают, а потом пойдут сплетничать. Да. А у Зоеньки... уж, право, не знаю, хуже ли, лучше ли? Ее Стасенька и добрый и ласковый... Ну, да они все, поляки, ласые, а вот насчет бабья – сущий кобель, прости Господи. Все деньги на них, бесстыдник, сорит. Катается на лихачах, подарки там разные. А Зоя, дурища, до сих пор влюблена, как кошка! Не понимаю, что за глупость! На днях нашла у него в письменном столе, – ключ подобрала, – нашла карточки, которые он снимал со своих Дульциней в самом таком виде... знаешь... без ничего. Ну, Зоя и отравилась опиумом... Едва откачали. Да, впрочем, что я тебе все неприятное да неприятное. Расскажи лучше о себе что-нибудь. Только тсс... потише – здесь и стены имеют уши.

Семенюта призывает на помощь все свое вдохновенно и начинает врать развязно и небрежно. Правда, иногда он противоречит тому, что говорил в прошлый визит. Все равно, он этого не замечает. Замечает мать, но она молчит. Только ее старческие глаза становятся все печальнее и пытливей.

Служба идет прекрасно. Начальство ценит Семенюту, товарищи любят. Правда, Трактатов и Преображенский завидуют и интригуют. Но куда же им! У

них ни знаний, ни соображения. И какое же образование: один выгнан из семинарии, а другой – просто хулиган. А под Семенюту комар носу не подточит. Он изучил все тайны канцелярщины досконально. Столоначальник с ним за руку. На днях пригласил к себе на ужин. Танцевали. Дочь столоначальника, Любочка, подошла к нему с другой барышней. «Что хотите: розу или ландыш?» – «Ландыш!» Она вся так и покраснела. А потом спрашивает: «Почему вы узнали, что это я?» – «Мне подсказало сердце».

– Жениться бы тебе, Ванечка.

– Подождите. Рано еще, маман. Дайте обрасти перьями. А хороша. Абсолютно хороша.

– Ах, проказник!

– Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Дела идут пока порядочно, нельзя похаять. Начальник на днях, проходя, похлопал по плечу и сказал одобрительно: «Старайтесь, молодой человек, старайтесь. Я слежу за вами и всегда буду вам поддержкой. И вообще имею вас в виду».

И он говорит, говорит без конца, разжигаясь собственной фантазией, положив легкомысленно ногу на ногу, крутя усы и щуря глаза, а мать смотрит ему в рот, замороженная волшебной сказкой. Но вот звенит вдали, все приближаясь, звонок. Входит Домна с колокольчиком. «Барыни, ужинать».

– Ты подожди меня, – шепчет мать. – Хочу еще на тебя поглядеть.

Через двадцать минут она возвращается. В руках у нее тарелочка, на которой лежит кусок соленой севрюжинки, или студень, или винегрет с селедкой и несколько кусков вкусного черного хлеба.

– Покушай, Ванечка, покушай, – ласково упрашивает мать. – Не побрезгуй нашим вдовьим кушаньем! Ты маленьким очень любил севрюжинку.

– Маман, помилуйте, сыт по горло, куда мне. Обедали сегодня в «Праге», чувствовали экзекутора. Кстати, маман, я вам оттуда апельсинчик захватил. Пожалуйста...

Но он, однако, съедает принесенное блюдо со зверским аппетитом и не замечает, как по морщинистым щекам материнского лица растекаются, точно узкие горные ручьи, тихие слезы.

Наступает время, когда надо уходить. Мать хочет проводить сына в переднюю, но он помнит о своем обтрепанном пальто – невозможного вида и отклоняет эту любезность.

– Ну, что, в самом деле, маман. Дальние проводы – лишние слезы. И простудитесь вы еще, чего доброго. Смотрите же, берегите себя!

В передней гордый Никита смотрит с невыразимым подавляющим величием на то, как Семенюта тороп-

ливо надевает ветхое пальтишко и как он насовывает на голову полуразвалившуюся шапку.

– Так-то, Никитушка, – говорит ласково Семенюта. – Жить еще можно... Не надо только отчаиваться... Эх, надо бы тебе было гривенничек дать, да нету у меня мелочи.

– Да будет вам, – пренебрежительно роняет швейцар. – Я знаю, у вас все крупные. Идите уж, идите. Настудите мне швейцарскую.

Когда же судьба покажет Семенюте не свирепое, а милостивое лицо? И покажет ли? Я думаю – да.

Что стоит ей, взбалмошной и непостоянной красавице, взять и назло всем своим любимцам нежно приласкать самого последнего раба?

И вот старый, честный сторож Анкудин, расхворавшись и почувствовав приближение смерти, шлет к начальнику казенной палаты своего внука Гришку:

– Так и скажи его превосходительству: Анкудин-де собрался умирать и перед кончиной хочет открыть его превосходительству один очень важный секрет.

Приедет генерал в Анкудинову казенную подвальную квартирешку. Тогда, собрав последние силы, сползет с кровати Анкудин и упадет в ноги перед генералом:

– Ваше превосходительство, совесть меня замучила... Умирую я... Хочу с души грех снять. Деньги-то

эти самые и марки... Это ведь я украл... Попутал меня лукавый... Простите, Христа ради, что невинного человека оплел, а день-ги и марки – вот они здесь... В комод, в верхнем правом ящичке.

На другой же день пошлет начальник Пшонкина или Массу за Семенютой, выведет его рука об руку перед всей канцелярией и скажет все про Анкудина, и про украденные деньги и марки, и про страдание несчастного Семенюты, и попросит у него публично прощения, и пожмет ему руку, и, растроганный до слез, облобызает его.

И будет жить Семенюта вместе с мамашей еще очень долго в тихом, скромном и теплом уюте. Но никогда старушка не намекнет сыну на то, что она знала об его обмане, а он никогда не проговорится о том, что он знал, что она знает. Это острое место всегда будет осторожно обходиться. Святая ложь – это такой трепетный и стыдливый цветок, который увядает от прикосновения.

А ведь и в самом деле, бывают же в жизни чудеса! Или только в пасхальных рассказах?